**Казаков Ю.П. «ПОМОРКА»**

Начало формы

Конец формы

I

В сентябре на Белом море темнеет рано, сумерки коротки, а ночи аспидно-черны и холодны. Вырвется иногда перед закатом солнце из облаков, бросит последний угасающий луч на море, на холмистый берег, желто отразится в окошках высоких изб и тут же побагровеет, сплющится, уйдет в воду.

Тускло светится темно-красная полоска зари, слабо и зыбко сияет высокое холодное небо, а земля, избы в деревне, косогоры с поскотинами, словно щетиной поросшие по краям мелким низким лесом, — все погружается в темноту, только долго еще светятся в ответ заре свежеошкуренные бревна возле правления, и маслянисто блестит, хрустит под ногами щепа.

Вспыхнут на берегу моря, возле самой воды, несколько маленьких костров: сидят на корточках мальчишки, пекут себе картошку. Потом загорятся огни в окнах… Но скоро погаснет все — и костры и окна, — и деревня погрузится в долгий осенний сон.

А в полночь вдруг станет светло, прянут в зенит длинные дрожащие столбы, молча и страшно задвигаются, меняя бледные краски, отражаясь в море. Потом погаснут так же внезапно, как и возникли, и опять темнота сомкнется над землей и будет держаться упорно, долго, до неохотного рассвета следующего слепого дня.

Днем в деревне пусто. Ребята в школе, рыбаков нет — кто сидит на тоне, кто далеко в море, на лове трески, кто в поле… Оживляется деревня только по праздникам да если какая-нибудь бригада привезет богатый улов сельди или семги. В этот вечер потрескивает, сипит радио на столбе возле клуба, горят по улицам редкие фонари, однообразно вякает аккордеон, перебираемый непослушною рукой, слышен смех девок, запоет кто-нибудь песню…

Но пройдет день-два — и опять опустеет деревня. И так будет до самой глубокой осени, когда начнут возвращаться рыбаки с тоней, придут мотоботы с глубьего лова, когда кончатся наконец все полевые работы.

Тогда избы вновь наполнятся запахами соленой трески и пикши, водки и браги по праздникам, махорочным дымом, крепким мужицким говором, стуком сапог. Станет весело! Жарко будут топиться печи по утрам, вкусно запахнет ржаным хлебом из пекарни, дым будет высоко подниматься в бледное небо над седыми от изморози крышами. Хватят по ночам крепкие заморозки, начнет замерзать и звонко ломаться у берегов море, а из скотных дворов хорошо, уютно будет тянуть теплым навозом.

В клубе начнут чуть не ежедневно крутить кино, допоздна станет бубнить на задах дизель электростанции, без конца будет заседать правление, и разговоров про рыбу, про план, про погоду, про заработки и трудодни хватит надолго, чуть ли не до февраля, когда снова опустеет деревня: кто уйдет на ледоколе на зверобойный промысел, кто — в Унскую губу на зимний лов наваги.

II

Пусто и в избе, где я живу.

Высокая, огромная, в две связи, со множеством комнат и чуланов, строенная на большую семью, наверное, еще в прошлом веке, — она тиха и гулка.

По ночам в ней тихо трещат стены. Днем она поражает чистотой. До блеска вымытые окна загораживают цветы тоже с блестящими протертыми листьями. Белые полы пахнут мылом и березовым веником. По полам от дверей раскинуты старые сети. От сетей в избе стоит слабый пряный запах моря, водорослей. На Почетных грамотах, фотографиях, настенных зеркалах — всюду висят чистые, голубые от синьки, расшитые полотенца. Столы и сундуки покрыты суровыми хрустящими скатертями с мережкой.

И в тишине живет, всю эту чистоту и старинный порядок блюдет один человек — девяностолетняя старуха Марфа.

Как она стара! Странно и жутко порой глядеть мне на неё — такое древнее и темное у неё лицо, такие тусклые, выцветшие глаза, так неподвижно сидит она в редкие минуты отдыха. Уж никогда-никогда не выпрямить этот согнутый стан и ставшую круглой уже спину, не истончить громадные набрякшие ноги, не согреть холодные руки.

Неужели была она когда-то горяча и хороша, неужели в этом теле билось когда-то иное сердце? Нет, нет, нельзя поверить, нельзя вообразить её иной, чем сейчас!

А всё-таки была она молодой и, по словам стариков, помнящих её, ещё какой красавицей была! С каким самозабвеньем плясала на праздниках, как пылали тогда ее щеки, как горели и сияли глаза, каким туго налитым, стройным и сильным было ее тело!

Как любила она своего Ванюшу — кряжистого, с выпуклой грудью, с мелкими белыми зубами, жесткими черными усами и жестким же черно-смоляным чубом парня, — как обмирала, пылала и дрожала, когда видела его, идущего по улице в розовой рубахе, в вонючих высоких сапогах, с каким радостным страхом кидалась опрометью на зады, видя, что он сворачивает к ее дому.

У, как была она красива тогда и как любила петь, какие дивные старинные песни знала, какой заунывно-звенящий голос был у неё! И как талантлива, яростно-неуемна была она на любую, даже самую тяжелую, грязную работу!

Так что же иссушило, состарило ее, сделало холодными руки и утишило сердце? Уж не белые ли призрачные, завораживающие ночи, не страшное ли ночное солнце выпило ее кровь? Или, наоборот, длинные зимние вечера, которые проводила она за прялкой при багровом дымном свете лучины?

О чем думала она, о чем мечтала в эти вечера, когда свистел и гудел ветер, гнал колючий сухой снег, задувал в окна, выл в печной трубе, когда гулко и грозно ломало прибрежный лед и страшно было выйти на двор, в черноту полярной ночи?

А как вопила она, как билась и причитала, провожая и обряжая в смертную дорогу отца и мать, братьев и сестер, а потом и мужа и детей, наглядываясь каждый раз на них и не в силах наглядеться. Как бежала она к морю, как кидалась в волны, как хотелось ей в те минуты тоже навеки остаться на песчаном кладбище среди редких низкорослых сосен!

Случай забросил меня сюда ненадолго, скоро я уеду и никогда, быть может, не увижу больше ни моря, ни этих высоких черных осенью изб, ни этой древней поморки. Отчего же так таинственно близка и важна мне ее жизнь, почему так неотступно слежу я за ней, думаю о ней, расспрашиваю ее? А она не любит рассказывать, отвечает всегда кратко, общими словами:

— Как жила-то? Да всяко…

— А как же?

— Дак я и говорю — всяко…

Говорит она как-то бегло, не пристально, невнятно, рассеянно оглядываясь или думая о чем-то своем, далеком, сокрытом от меня. Но вдруг вспоминает о внуках-моряках, оживляется, приносит открытки, которые месяцами шли в эту глухую деревню и которые кажутся почти сказочными в этой северной стороне. Она разворачивает чистый платок — и они рассыпаются по столу, лаковые, нежно-яркие, со штемпелями Бомбея, Рангуна, Сан-Франциско, Коломбо…

Я читаю их вслух, Марфа слушает, опустив темное лицо, на котором тлеет слабая улыбка. Долго потом перебирает она их, щупает корявыми пальцами гладкий картон, всматривается в картинки, наконец заворачивает, уносит, прячет в сундук и снова ходит по избе, все что-нибудь делает..

Встает она затемно. Простоволосая, наскоро молится, тяжело и трудно со сна кланяясь в темный угол, где между Почетных грамот висит черная раскольничья икона в тусклом серебряном окладе. Потом повязывает платок, выходит в сени, начинает ходить по избе, по всем ее комнатам, чуланам и клетям, лазит на чердак, в поветь, выходит на огород.

Чего только не переделает она за день!

Доит и гонит на улицу корову, шумит сепаратором, кормит кур, лезет на поветь за яйцами, косит и рубит потом на крыльце кроваво-рыжим косарем траву и картофельную ботву поросенку, копает картошку на огороде, сушит, когда светит солнце, и ссыпает в подпол; топит печь, варит обед, кипятит самовар, идет к морю с корзиной, собирает сиреневые пучки водорослей, которые покупает у нее агаровый завод; привозят ей сено, и она, надрываясь, таскает его наверх, в поветь по съезду, а по субботам топит баню, натаскивает туда до двадцати вёдер воды, стирает, штопает, гладит, метет и моет полы, сени, крыльцо и даже деревянные мостки возле избы; чуть не каждый день ходит она на скотный двор помогать телятницам и зарабатывать себе трудодни; на ближней тоне, в десяти километрах от деревни, живет ее младший сын, хмурый вдовец, уже седой и часто похварывающий, и Марфа раз в неделю, переделавши с утра множество работы, идет туда, несет папирос, масла, хлеба и сахару, приходит на тоню часа через три и, не отдохнув, начинает и там мыть и стирать, штопать и даже чинить порванные сети — на тоне этой живут одни мужики, и Марфа не может не справить своей бабской, как она говорит, работы.

III

Последнее время она стала плохо спать. Какая-то торжественная перемена происходит у нее глубоко в душе. И эту перемену она воспринимает как знак, как предзнаменование скорой смерти. Все чаще снятся ей муж, отец, мать, умершие дети… И я вижу, как лазит она в сундук, разглядывает свое смертное: чистую рубаху, уже пожелтевшую и пропахшую деревом сундука, просторный белый саван, платье, расшитое покрывало, ленты, холстины, темные чулки и тапки. Она рассматривает, перекладывает, расправляет все это — чуждое и страшное человеку — с такой же споростью и пристальностью, как и всякую другую необходимую в хозяйстве вещь.

— Не тогда плясать, когда гроб будут тесать, — с удовольствием говорит она.

Умирать ей не страшно. Она непоколебимо убеждена в справедливости жизни, в справедливости и необходимости прихода смерти.

— Могилка-то давно меня ждет, — ласково, как о чем-то очень приятном, говорит она, глядя поверх меня тусклыми глазами. — Там и батюшка и матушка мои повалены лежат… И сыны там, все там. Небось по мне соскучились. А я, слава тебе, царица небесная, пожила.

Ночью, когда на море разыгрывается шторм, ревет внизу совсем близко прибой и рев этот отдается по всей избе, так что вздрагивают потолки и стены, Марфа молится, стоя на коленях в углу. Молится она не за себя — за тех, кто на рыбных промыслах в Баренце.

— Пошли, господи, им поветерь, — шепчет она и кланяется, стукаясь лбом о пол. — Не погуби, господи, сохрани их, Николушка!

Странно мне слушать это — будто бабка моя молится, будто мать свою я слышу сквозь сон, будто все мои предки, мужики, пахари, всю жизнь, с детства и до смерти пахавшие, косившие, положенные, забытые по погостам, родившие когда-то и хлеб и другую, новую жизнь, будто это они молятся — не за себя, за мир, за Русь — неведомому богу старозаветному, доброму Николе-угоднику.

— Пошли им погодушку, небушко чистое, водицу светлую, — шелестит во тьме девяностолетний голос.

Потом она ложится и лежит неподвижно, глядя в темноту. Тошно ей, тяжко, давят ее годы — детство, молодость, такие далекие, такие неясные уже и все-таки прекрасные, как белая ночь, вся в солнце незакатном, и старость — как один темный осенний вечер.

Лежит Марфа, вспоминает свою жизнь, и представляется ей, будто она, молодая девка, поет песню, слышит со стороны свой чистый печальный голос:

* *Ах ты, моя матушка,*
* *Твой сынок да разнесчастный*
* *Далеко на море побежа-ал…*

Но эти радостные и грустные мысли скоро уходят, уступая место другим, привычным мыслям и заботам. И она уже думает, как бы дожить до Михайлова дня, когда все начнут собираться домой, что корова уже стара, плохо и мало доится, и не забыть сказать, чтобы купили новую, что надо гонять овец за коргу — там много морской капусты давеча накидало, что надо жать ячмень на огороде да вешать сушить…

Засыпает она не скоро и не сразу, вздрагивает несколько раз. Во сне редко и слабо дышит, просыпается, перекладывает млеющие руки и опять спит и не спит, все слышит и понимает, но и сны видит — смутные, давно знакомые…

Все чаще бушует море, и все чаще выходит Марфа к вечеру на берег, стоит неподвижно возле наискось заделанных палок плетня, твердо чернея на бледно-желтом фоне зари. Смотрит на грязно-взлохмаченное море, на без конца бегущие и ревущие на отмели взводни с белыми гривами — знакомая картина!

Резко и горько пахнет холодной картофельной ботвой, водорослями, резко, несмотря на гул моря, слышны женские голоса, шаги по деревянным мосткам, какой-то особенный в этой деревне, басовитый и короткий крик коз.

По улице, по деревянным мосткам, крепко стуча сапогами, идет сосед-рыбак — крутоплечий, крепкий, счастливый своей крепостью. Подходит поздороваться, зовет вечером в кино, дымит сигаретой и густо кашляет, наливаясь кровью. Потом замечает Марфу, делает серьезное лицо и грубо-восхищенно говорит:

— Ах ты! Опять выползла… Своих ждёт. Хорошая старуха-то, святая, одно слово — поморка! Хошь, выпьем за неё?

Он сильно затягивается, прищуривает правый глаз, обжигая губы, бросает окурок, втаптывает его каблуком в песок, жидко сплевывает и идет берегом на рыбоприемный пункт, потирая красную шею, ширкая друг о друга отвороченными голенищами высоких сапог. Проходя мимо Марфы, он сдергивает кепку и почтительно кланяется ей.

Ветер холодеет, небо темнеет, заря окрашивается в винный цвет, воздух делается прозрачней, смугло румянеют избы наверху, а на востоке загораются редкие бледные звезды. Скоро совсем смеркнется, а Марфа все будет стоять, положив старчески-сизые руки на плетень, и смотреть на море, пока не погаснет последний мглистый отблеск зари.

***1957***